

Академический театр драмы и сразу несколько улиц в Туле носят имя писателя Максима Горького. При этом иногда употребляется неверный псевдоним «А. М. Горький». Такого человека никогда не существовало. Были реальный Алексей Максимович Пешков (16(28).3.1868, Нижний Новгород — 18.6.1936, Горки-10 Московской области) и литератор Максим Горький. В чем же, собственно, заключается та связь Горького с тульскими местами и обывателями, на которую указывают местные справочные издания?

Начиная с девичьей фамилии матери — Каширина — пытливый взор краеведа обращается к бывшему тульскому уездному центру Кашире, однако ничего там «горьковского» не находит. Это обычная оттопонимная фамилия, каких в России в изобилии. Тем не менее, ощущение от какой-то незримо связующей Горького и наш край нити сохраняется — и недаром. В первом десятилетии XX века он действительно побывал в Тульской губернии, но основным мотивом визитов стали встречи с Л. Н. Толстым. От них отталкивается все то литературоведение, которое когда-то увлекалось сбором сведений обо всех знаменитых посетителях Ясной Поляны и гостей Толстого «на выезде», например, в Гаспре. Там-то как раз и бывал Горький. Двойной памятник писателям до сих пор стоит у дороги под Ялтой.

«Тульский биографический словарь» счел нужным указать на встречи Горького с Толстым не только в Ясной, но еще и в Крыму, словно Толстой — это исключительно тульская тема. Если здесь говорить не о личных встречах Горького и Толстого, а

лишь о связях Горького с тульской землей, ракурс будет несколько иным. Прежде всего, это отражение писательских впечатлений в произведениях, причем без притягивания посещений Горьким нашего края. Эти артефакты невозможно раскрыть, если не привести целиком выдержку из путевого очерка.

Тульские черты ощутимо просвечиваются в поведении персонажей рассказа «Женщина», впервые напечатанного в «Вестнике Европы» (1913, кн. 1, с. 5—32) и сначала носившего заголовок «По Руси (Из впечатлений "проходящего")». Ярче остальных Горькому запомнился уроженец, скорее всего, Алексинского уезда, в котором две несчастные героини надеялись встретить наконец-то настоящего человека — надежного и не такого, как все. Однако, по замечанию самого писателя, на протяжении того самого путешествия мужиков повстречалось «много, а людей вот нет».

«Все это "русские" — из центральных губерний, они дочерна сожжены непривычным солнцем юга, волосы их выгорели, ветер ершит и треплет их лохмотья, все они притворяются смиренными, благочестивыми — устали от трудов, от неудач жизни и вот — сошлись сюда <...> Ниже и вычурнее других кланяется казакам туляк Конев, мужик сухой, обгорелый, точно головня, с черной бородкой, беспечно рассеянной по костлявому лицу, с ласковой улыбочкой темных глаз, глубоко спрятанной в орбиты.

<...> Конев — старый знакомый мой, по пути из Курска до Тверской области я неоднократно встречал его. Он — человек «артельный», любит держаться среди людей, но, кажется, лишь потому, что очень труслив. На всех точках земли вне своей деревни, прижавшейся где-то к пескам Алексинского уезда, он убежденно говорит всегда одно и то же:

— Действительно, земляца тут богатая, а с людьми я не согласен... никак! В нашем краю народ куда те душевнее, настоящий русский народ, равнения нет со здешним! Тут — кремни, тут душ и на трешник нет!

Он любит тихо и задумчиво рассказать чудесный случай неожиданного обогащения:

— Вот — в подковы ты не веришь, а я те скажу — нашел один ефремовский мужик подкову, а недели через три за этим дядя его, лавошник в Ефремове — со всею семьею и сгори,— видал? Все наследство — мужику этому попало,— да! Нет, ты не бай, чего не знаешь: судьба человека жалеет, она его часто с добром стережет...

Его черные, круто изогнутые брови всползают высоко на лоб, а глаза изумленно выкатываются из орбит, точно Конев и сам не может поверить в то, что рассказал.

Когда казак пройдет, не ответив на поклон, Конев смотрит в спину ему и ворчит: — Заелся, не видит даже человека... Нет, я прямо скажу: суходушный народ!..

С ним — две женщины; одна — лет двадцати, коротенькая, толстая, со стеклянными глазами и полуоткрытым ртом. У нее лицо дурочки: нижняя часть его, с обнаженными зубами, как будто смеется, а когда взглянешь в неподвижные глаза под низким лбом — кажется, что она сейчас заплачет, испуганно и визгливо, точно кликуша.

— Отпустил он меня сюды с чужими людьми,— жалуется она басом, засовывая коротким пальцем под зеленый и желтый платок выгоревшие волосы.

Толсторожий скуластый парень с маленькими глазками монгола толкает ее локтем в бок, силпо и лениво говоря:

— Бросил он тебя. Только ты его и видела...

— Да-а,— задумчиво тянет Конев, разбираясь в своей котомке.— Теперь баб очень просто покидают, ни к чему они в этом годе, ничем...

Баба морщится, испуганно мигая, растягивает рот,— ее подруга говорит бойко и внятно:

— А ты не слушай их, озорников...

Она постарше лет на пять, и лицо у нее не обычное: большие темные глаза все

время играют, почти каждую минуту меняя выражение: то они пристально и серьезно смотрят куда-то вдоль станичной улицы и в степь, где летает ветер, вдруг торопливо начинают искать чего-то на лицах людей, потом тревожно прищурятся, по красивым губам пробежит улыбка,— женщина, опустив голову, прячет лицо, а когда вновь поднимает его — глаза у нее новые: сердито расширены, между тонких бровей лежит угловатая складка, запекшиеся губы аккуратного рта плотно и упрямо сжаты, она шумно, как лошадь, втягивает воздух тонкими ноздрями прямого носа.

В ней чувствуется что-то не крестьянское: из-под синей юбки высунулись потрескавшиеся ступни ног — это не деревенские растоптанные ноги, подъем их высок, заметно, что они привыкли к башмакам. Она чинит голубую с белыми горошинами кофту, и видно, что работать иглой привычно ей,— небольшие загорелые руки мелькают над измятой материей ловко и быстро. Ветер хочет вырвать шитье из этих рук и не может. Сидит она согнувшись, в прореху холщовой рубахи я вижу небольшую крепкую грудь,— грудь девушки, но оттянутый сосок говорит, что предо мною — женщина, кормившая ребенка. Среди этих людей она — точно кусок меди в куче обломков старого, изъеденного ржавчиной железа. <...> эта женщина будит фантазию, заставляя догадываться о ее прошлом, и невольно я создаю какую-то сложную историю человеческой жизни, раскрашивая эту жизнь красками своих желаний и надежд. Я знаю, что это ложь, и — знаю — худо будет мне со временем за нее, но — грустно видеть действительность столь уродливой.

<...> Скуластый парень неподвижно остановил на молодой бабе в зеленом платке свинцовые белки с мутными, точно у слепого, зрачками, срывает серые былинки, жует их, как теленок, и, засучив рукав рубахи по плечо, сгибает руку в локте, косясь на вздувшийся мускул.

Неожиданно он спрашивает Конева:

— Хошь — дам раза?

Конев задумчиво посмотрел на кулак — большой, как пудовая гиря и словно ржавчиной покрытый,— вздохнул и ответил:

— Ты себя по лбу вдарь, может, умней будешь...

Парень смотрит на него сычом, спрашивая:

— А почему я дурак?

— Наличность доказывает...

— Нет, постой,— тяжело поднявшись на колени, придирается парень.— Ты отколь знаешь, каков я?

— Губернатор ваш сказывал мне...

Парень помолчал, удивленно посмотрел на Конева и спросил:

— А какой я губернии?

— Отвяжись, коли забыл.

— Нет, погоди! Ежели я тебя вдарю...

Перестав шить, женщина повела круглым плечом, как будто ей холодно стало, и ласково осведомилась:

— А в сам-деле — какой ты губернии?

— Я? Пензенской,— ответил парень, торопливо перевалившись с колен на корточки.— Пензенской, а что?

— Так...

Женщина помоложе странно засмеялась подавленным смехом.

— И я...

— А уезда?..

— А я и по уезду — Пензенская,— не без гордости сказала молодуха.

Сидя перед нею, точно перед костром, парень протягивал руки к ней и увещавоющим голосом говорил:

— У нас город — хорош! Трактиров, церквей, домов каменных... а в одном трактире — машина играет... все, что хошь... все песни!

— И в дураки тоже играет,— тихонько бормочет Конев, но, увлеченный рассказом о прелестях города, парень уже ничего не слышит, шлепает большими влажными губами и, как бы обсасывая слова, ворчит:

— Домов каменных...

Женщина, снова оставив шитье, спросила:

— И монастырь есть?

— Монастырь?

Свирепо почесав шею, парень молчит, потом сердито отвечает:

— Монастырь! Я дотошно не знаю... я один раз в городу-то был, когда нас, голодающих, железную дорогу строить гнали...

— Эхе-хе,— вздохнул Конев, вставая и отходя. Люди прижались к церковной ограде, как сор, согнанный степным ветром и готовый снова выкатиться в степь на волю его. Трое спят, некоторые чинят одежду, бьют паразитов, нехотя жуют черствый хлеб, собранный под окнами казачьих хат. Смотреть на них скучно, слушать беспомощную болтовню парня досадно. Старшая женщина, часто отрывая глаза от работы, чуть-чуть улыбается ему, и хотя улыбка скупенькая, она раздражает меня, и я иду за Коневым. <...>

— Бабеночка-то? — мечтательно спрашивает Конев, прислонясь к стволу тополя и обняв его рукою.

— Откуда она?

— Говорит — рязанская, а звать — Татьяной...

— Давно с тобой ходит?

— Не-е... кабы давно! Седни утром встрелась, верст за тридцать отсюда... с подругой, с этой. Да я и ране видал ее, около Майкопу, на Лабереке, в косовицу. В ту пору был с ней мужик пожилой, бритый, вроде бы солдат, не то любовник ей, не то дядя. Пьяница, драчун. Там его за три дня дважды били. А теперь вот идет она с подругой этой. Дядю-то посадили в казачью тюрьму, как он шлею и вожжи пропил...

Конев говорит охотно, но — как бы додумывая какую-то невеселую думу. Он смотрит в землю. Ветер треплет его рассеянную бородку и рваный пиджак, срывает с головы картуз — измятую тряпицу без козырька, с вырванной подкладкой,— картуз этот — точно чепчик и придает интересной голове Конева смешной бабий вид.

— М-да-а,— сплюнув, сквозь зубы тянет он,— приметная бабеночка... рысак, просто сказать! Нанес черт толстомордого этого... у меня бы с ей, глядишь, дела наладились хорошие, а он... пожалуйте! Пес...

— Ты говорил — у тебя жена есть...

Конев метнул в лицо мне сердитый взгляд и отвернулся, ворча:

— Али я жену в котомке ношу?

Площадью идет кособокий усатый казак, с большими ключами в руке,— в другой у него смятая фуражка вперед козырьком. За ним, всхлипывая и вытирая глаза кулаками, плетется кудрявый мальчик, лет восьми, и шершавая собака,— морда у нее унылая, хвост опущен, должно быть — тоже обижена. <...> Вид у нее ко всему привычный, и она похожа на Конева, только старше.

— Ты вот сказал — жена,— тяжело вздыхая, говорит Конев,— конечно... ну,— не всякая болезнь — до смерти!.. Женили меня девятнадцати лет...

Остальное я знаю, слышал эти рассказы неоднократно, но мне лень остановить Конева, и в уши назойливо лезут знакомые жалобы.

— Девка сытая, на любовь охочая. Пошли-посыпались дети, вроде бы тараканы с полатай.

Ветер становится тише, уныло шепчет о чем-то...

— Оглянуться не успел, а их — семеро, и все живут,— на тебе! А всего заводу было тринадцать — к чему это? Теперь считай: ей сорок два, а мне сорок три, она — старуха, а я — вот он! Я еще веселый. Одолела меня бедность-нищета, старшенькая девчоночка моя зиму эту в кусочки ходила — что поделаешь? А я — по городам шлялся, ну — там для нас одно дело: гляди да облизывайся! Прямо — вижу, не хватает меня,— плюнул на все и — пошел...

Сухонький, стройный этот человек не позволяет думать, что он работал много и любит работать. Рассказывая, он не жалуется, говорит просто, как бы вспоминая о ком-то другом...» [4].

Рассказ «Женщина» должен вызвать определенный интерес у филологов: автор употребляет форму фамилии Конев с ударением на последнем слоге, переводящим ее в «Конев», что в принципе немислимо для других регионов, но вполне приемлемо для тульского. Иначе говоря, Горький подметил местное произношение, подтвержденное множеством иных фамильных прозвищ. Для туляка проще простого произнести «Александрóв» и «Иванóв» вместо «Алекса́ндров» и «Ива́нов». В моей личной практике встречались случаи, когда одну и ту же фамилию по-разному употребляли близкие родственники: старшее поколение говорило «Груданóв», следующие: «Грудáнов». Этот едва замечаемый этнолингвистический элемент придает рассказу Горького еще большее значение, чем, например, упоминание жителей Ефремова с его уездом, о котором в местных газетах писали тамошние краеведы (я не располагаю точными ссылками на эти издания).

Что же до знаменитых встреч и диалогов с Толстым [5], то это уже слишком подробно рассмотрено и изучено в науке, хотя некоторые моменты в силу «неловкостей» (нелестных отзывов Толстого о подавляющем большинстве гостей) специально опускались и лишь благодаря свободе девяностых удалось прочитать несколько больше того, что указывали прежние ревнители сохранения дутых авторитетов во имя «патриотического воспитания». Впервые Горький прибыл в Ясную Поляну 8 октября 1900. Затем бывал не раз, поэтому большое внимание ему уделяет Душан Петрович Маковицкий во всех четырех томах «Записок». По итогам разговоров с Толстым Горький составил книжку дневниковых записей под названием «Заметки», по жанру весьма напоминающую те же «Яснополянские записки» Маковицкого. В записях Горького прежде всего обращает на себя внимание почти полное отсутствие его мнения о толстовских высказываниях, а было бы любопытно узнать, с чем Горький соглашался и с чем нет. Чувствуется, что, находясь внутри ауры Ясной Поляны, Горький, как и очень многие посетители, временно переставал принадлежать себе и терял индивидуальность. Это вполне объяснимо.

Максим Горький, писатель, издатель и общественный деятель, всю жизнь жаждавший правды и одновременно ее ненавидевший, собиравший фольклор и откровенно, во многом справедливо презиравший народ, «окающий» интеллигент в первом поколении, неизвестно зачем вернувшийся на родину, чтобы предать репутацию честного «буревестника» и автора «Несвоевременных мыслей»,— этот Горький еще долго станет будоражить воображение современных исследователей, не могущих ответить на вопрос: он один из архитекторов репрессивного режима или жертва? Достоин ли его имя увековечения в каждом городе и в названиях посторонних ему учреждений вроде Тульского театра драмы или, что совсем уже смешно, картофельного сельхозпредприятия в той же Тульской области? Однако следует понимать, что внутренняя противоречивость, ставшая, к несчастью для Горького, катализатором его личной трагедии,— это нормальное для творческого человека состояние. Иное дело — что Горького раз и навсегда возвели в основоположники соцреализма, который

давно сам себя уничтожил. Кстати, Горький — чуть ли не единственный советский писатель, которого довольно легко читать. Но это можно объяснить дореволюционной школой. А вот выдернутость его из компании «подмаксимовиков», в которую неформально входили связанные с тульским краем Л. Н. Андреев, И. А. Бунин (а позже горьковские традиции безуспешно пытался проводить в литературу Артем Веселый), это совсем не радует, как и любая иная типично русская избирательность, когда, проще говоря, цепляются за кого-то одного, чтоб недолго думать, согласиться с предложением об увековечении и идти скорее домой, а через много лет потомки задают тупиковый вопрос: а почему именно Горький? Бунин-то ведь и Куприн лучше писали. Отвечать на это просто нечего, иначе придется рассказывать всю историю советской власти и объяснять мотивацию отбора имен для «вечной памяти».

Я очень сомневаюсь в необходимости ношения сразу несколькими улицами имени Горького\*, тем более что это вызывает путаницу во многих серьезных ситуациях, но, насколько приходится наблюдать, абсолютно не беспокоит ни власть, ни приверженцев советского прошлого, для коих гораздо важнее — эпатажный имидж, а не суть.

И все же факт влияния впечатлений от встреч с туляками на творчество Горького и важность его встреч с Толстым неоспоримы. Надеюсь, настоящая публикация дополнит сведения, содержащиеся в краеведческих изданиях.



\* ...Неизлечимое заболевание русского народа: надуманная страсть ко всяческим переименованиям. Ошибочным будет считать, что «задатчиками» здесь были пресловутые большевики — притча во языцех нынешних СМИ. Все началось еще при царях. Достаточно вспомнить двойное, в 1812 и в 1914 гг., переименование Санкт-Петербурга в патриотический Петроград... Сейчас на горá выдается очередная волна переkreщиваний. И конца этому не будет никогда, увы (прим. ред.).